



**П. Н. МИЛЮКОВ**

### **«Случай» графа Толстого**

Граф А. Толстой<sup>1</sup> «считает, что писатель, оставляющий свое прямое занятие — художественное творчество — для политической борьбы, поступает неразумно, и для себя и для дела — вредно». Для писателя типа гр. А. Толстого это изречение безусловно правильно. И если к этой большой посылке прибавим малую: гр. А. Толстой действительно уклонился от «своего прямого занятия» в политическую борьбу, — то вывод можно будет сделать словами самого гр. А. Толстого: он «поступил неразумно, и для себя и для дела вредно».

Есть ли, однако, доказательства того, что гр. А. Толстой вмешался в политическую борьбу?

Для тех, для кого самый факт появления гр. А. Толстого в «Накануне» не являлся еще таким доказательством, эти доказательства обильно рассыпаны в «Открытом письме» гр. А. Толстого. Первым из них является смелая и чересчур неосторожная попытка реабилитировать тот орган печати, в который перешел гр. Толстой. Достаточно прочесть эти строки, в которых гр. Толстой утверждает, что «Накануне» есть «газета свободная», которая посвящает себя «борьбе за русскую государственность», чтобы заключить, что гр. Толстой стал на определенную сторону в чисто политическом споре. Как «писатель», гр. Толстой мог бы ограничиться заявлением, которое он и сделал в конце письма: в политике «я ровно ничего не понимаю», занимаюсь «художественным творчеством», а, следовательно, мне все равно, где печататься, лишь бы печатали и платили. Конечно, такой ответ не свидетельствовал бы об особой разборчивости, но — он был бы последователен. Гр. Толстой — поступает иначе. Он берет под свою защиту именно поэтические тенденции «Накануне» и пытается доказать, что они — единственно правильные:

«Позвольте мне указать на причины, заставившие меня вступить сотрудином в газету, которая ставит себе целью:

— укрепление русской государственности, восстановление в разоренной России хозяйственной жизни и утверждение великодержавности России. В существующем ныне большевистском правительстве газета «Накануне» видит ту реальную, — единственную в реальном плане, — власть, которая одна сейчас защищает русские границы от покушения на них соседей, поддерживает единство русского государства и на Генуэзской конференции одна выступает в защиту России от возможного порабощения и разграбления чужими странами».

Я не буду сейчас спорить с гр. Толстым о том, как большевистская власть выполняет все эти функции, лишь констатирую, что гр. Толстой, принимая эти определения за свои, тем самым отождествляет себя именно с политическим направлением «Накануне», т. е. сжигает свои корабли.

Далее, однако же, гр. Толстой чувствует потребность объяснить, как произошло то, что он присоединился к вышеприведенным взглядам, после того, как так еще недавно он убежденно и горячо защищал мнения противоположные. Эта исповедь имела бы очень большое автобиографическое значение, если бы гр. Толстой говорил здесь от своего собственного имени. Мы бы, быть может, узнали кое-что поучительное о том, как текущие события влияют на умонастроение недюжинного писателя. Но, нет, гр. Толстой вновь уклоняется от «писательской» автохарактеристики в область политической публицистики. Он, именно отождествляет свой личный случай с «натуральным типом русского эмигранта, проделавшего весь скорбный путь хождения по мукам». Другими словами, индивидуальное описание заменяется коллективным, и мы не всегда знаем, что в последующих рассуждениях принадлежит самому Толстому и что «натуральному типу русского эмигранта». Так как, однако, этот «натуральный тип» не превратился без остатка в сотрудника «Накануне», а сделал этот практический вывод из своего «хождения по мукам» именно гр. Толстой с очень немногими своими коллегами, то мы принуждены принимать его коллективное объяснение за личное.

Что же случилось с гр. Толстым?

Гр. Толстой прозрел. В своем письме он сперва рисует нам психологическую картину своей слепоты и своего прозрения, а затем пытается выразить свое психологическое состояние в целом ряде логических построений. Остановимся и на том и на другом ряде доказательств, подчеркнув предварительно, что оба ряда, опять-таки относятся не к области «художественного творчества», а к области

чисто политических вопросов, участие в решении которых Толстой считает для себя неразумным и вредным.

По неожиданному признанию гр. Толстого, его парижская жизнь «начала восходить на бред». «Мы питались дикими слухами и фантастическими надеждами, — говорит он. — Мы бредили наяву, в трамваях, на улицах. Французы нас боялись, как сумасшедших. Мы были призраками, бродящими по великому городу. Под этим коллективным «мы» нам приходится разуместь самого Толстого; иначе его объяснение лишает всякого смысла. Я тоже жил в Париже и «нас», подобных мне эмигрантов, было там довольно, много, включая и личных друзей гр. Толстого. Но никто из «нас» не был одержим тем сумасшествием, которое описывает гр. Толстой, и «нас» французы нисколько не боялись. Не боялись они, сколько мне известно, и гр. Толстого, так что, его «бред наяву» приходится отнести к области личных галлюцинаций, до сих пор тщательно им скрывавшихся. Чувствуя, очевидно, что одной этой картины несуществовавшего в действительности коллективного гипноза недостаточно для объяснения его эволюции, гр. Толстой указывает затем на то действие, которое оказала на него война большевиков с Польшей и русский голод. Сам он, однако, прибавляет, что действие этих причин могло быть и было прямо противоположное на разных людей, — очевидно, в зависимости от их теоретических и политических предпосылок: «Одним подбавило жару в их надеждах на падение большевиков, на других повлияло совсем по-иному».

На гр. Толстого оно «повлияло совсем по-иному». Как же?

Он «всей своей кровью желал победы, красным войскам в борьбе с Польшей, по еще чувствовал это, «акт» «противоречие», ибо «все еще был наполовину в призрачном состоянии, в бреду». Сам он замечает, что сочувствовал большевикам в данном случае «в числе многих, многих других». Вероятно, гр. Толстой согласится признать, что не все эти многие пребывали в состоянии горячечного бреда. Вероятно, поэтому, они я не чувствовали «противоречия» между своим сочувствием тем действиям большевистской власти, в которых она поневоле выступала, как русская, и общим отрицательным отношением к этой же власти, как губящей Россию. В данном случае гр. Толстой проявил лишь непривычку к анализу. Но в следующем своем примере — отношении к русскому голоду — он уже проявляет и некоторую недобросовестность, свойственную тому политическому направлению, к которому он теперь примыкает. Оказывается, именно, что в то время, как гр. Толстой говорил «не все ли равно, кто виноват», когда люди умирают, «нашлись непримиримые», которые ска-

зали: «Ни вагона хлеба в Россию, где этот вагон день продлит власть большевиков». Гр. Толстой, очевидно, решил поступить назло этим непримиримым. Но он сам, однако же, упоминает, что «таких было немного». Рядом с ними были и такие, которые говорили: сколько угодно вагонов, но только для населения, а не для власти, отнимающей хлеб у этого населения. Разница здесь весьма существенная. Гр. Толстой едва ли мог не заметить ее, — особенно, если он был несогласен с теми, кто кричал: ни вагона хлеба. Но если бы он в своей теперешней полемике упомянул, что существовало направление, которое добивалось помощи именно голодающим и приветствовало те гарантии этого, которые получил Хувер<sup>2</sup>, то он лишил бы себя права повествовать о поголовном сумасшествии и вместе с тем лишился-бы возможности объяснять свой переход в «Накануне» — переходом из бредового состояния в трезвое.

Совсем кратко гр. Толстой упоминает о третьем событии, решившем его переход, — а, между тем как раз тут не мешало бы внимательнее остановиться.

Этим «третьим чрезвычайным событием была перемена внутреннего, а затем и внешнего курса большевистского правительства Гр. Толстой не политик, именно потому бесполезно рассуждать с ним об истинном значении «НЭП-а». Но, нельзя дать ему проскочить безнаказанно мимо и этого «чрезвычайного события». Можно, если угодно, искать смягчающих обстоятельств. Но для этого нужно допустить такую степень легковерия, которую по отношению к писателю, привыкшему наблюдать жизнь, предположить невозможно. Самая краткость упоминания о самом важном для Толстого мотиве как бы показывает, что особой уверенности в силе этого аргумента сам Толстой не питает.

Но перейдем от психологии к логике. Если психологическое объяснение Толстого оказывается недостаточным, то его логические доказательства прямо поражают не только непродуманностью, но очевидной искусственностью построения. Гр. Толстой ставит себя и свой нормальный тип эмигранта на распутье трех дорог. Первый путь — повторение белой авантюры извне. Этот путь гр. Толстой отвергает, — и мы отвергаем вместе с ним. В прошлой моей статье я уже говорил, из какого, источника гр. Толстой мог бы подчерпнуть здравые мысли. Этот источник — отнюдь не «Накануне», и само появление этих мыслей современно и рижскому «бреду» гр. Толстого. Гр. Толстой только имеет смелость теперь прибавить к мотивам, приводившимся до и него против повторения белой и авантюры, один собственный. «В его совести нет достаточной емкости, чтобы вмещать в себя чужую

кровь». Гр. с Толстой, очевидно, слишком низкого мнения о «емкости» других совестей, кроме своей собственной, и его аргумент не может не вызвать справедливого негодования когда-либо искренне верившим или верящим в возможность сократить пролитие крови путем с белой борьбы. Только с момента, когда; бесплодность белой борьбы вполне выяснена, пролитие крови этим путем становится преступным. Но определить этот и момент есть дело политика, а не художника, и рекламировать собственную совесть за счет полученных из вторых рук данных, по меньшей мере, нескромно.

Описание второго пути, в правильности которого у гр. Толстого тоже «петь уверенности», грешить особенно неудач ныл применением чисто публицистических уверток. Этот путь — «брать большевиков измором, прикармливая особенно голодающих». Характеристику как видим, специально приноровленная к тому, чтобы отбить у невнимательного читателя охоту идти этим путем. Стоит читателю на минуту зазеваться и поверить Толстому, как Толстой уже зовет его в сети своего «третьего пути»; «признать реальность существования в России правительства, называемого большевистским». Читателю внимательному ясен скачек мысли. Из того, что момент «измора» большевиков неясен, Толстой прямо перескакивает к необходимости признания. Дискредитировав идею «прикармливания» голодающих, Толстой как бы внушает читателю совершенно недоказанную мысль, что с признанием большевиков «прикармливание» прекратится. Другими словами, от «неуверенности» в скором падении большевиков Толстой непосредственно переходит к уверенности, что с признанием большевиков русские бедствия прекратятся. Он совершенно игнорирует возможность допущения, что, причиненные большевиками, эти бедствия при большевиках будут не слабеть, а еще более усиливаться. Если бы он допустил эту возможность, то очевидно, и о взятии большевиков хотя бы «измором», как их и берет сама жизнь о «прикармливании голодающих» при невозможности восстановить русское земледелие ему бы не пришлось говорить это в иронической форме и в тоне заблаговременного осуждения. Он понял бы, что и дальнейшее «увеличение смертности и уменьшение России, как государства» отнюдь не устраняется признанием большевиков.

Но пойдём далее. Изложив свой второй путь» в терминах, возможно более неприятных, Толстой приискивает для своего «третьего пути» такие уклончивые выражения, которые заранее открывают ему лазейку. Оказывается, он готов признать, собственно, не большевистскую власть, а лишь «реальность существования» в России чего-то вроде «свирепой бури за окном». Проскользнув мимо этого

деликатного пункта, Толстой принимается усердно замечать следы усиленной словесностью: «Признав, делать все, чтобы помочь последнему фазису русской революция пойти в сторону обогащения русской жизни, в сторону извлечения из революции всего доброго и справедливого и утверждение этого добра, в сторону уничтожения всего злого и несправедливого, принесенного той же революцией, и, наконец, в сторону укрепления нашей великодержавности. Я выбираю этот третий путь».

Погодите, гр. Толстой, не спешите. «Признав» большевизм, как «бурю», конечно, «все» ото можно «делать». Но ведь это значит — не признавать большевизма вовсе, т.е. не идти в «Накануне». А коли пошли, так извините: признавайте и последствия своего «признания». Ваша всеобъемлющая фразеология, включающая контрабандой не только Бурцева, но и Струве, тут уже не годится. «Выбирать» — это ваше право: но не закрывайте же собственные глаза и не пускайте пыль другим на то, что именно вы выбрали.

Дальше — еще хуже. Толстой проповедует, что «нелегко ему было стать на третий путь — соглашения с убийцами». Признаться, я уже не верю Толстому, что это было ему так трудно. Дело в том, что он тут же обнаруживает чрезвычайную «емкость совести» в сторону своих новых друзей». Без дальних справок он просто декретирует, что они... были убийцами лишь в прошлом!.. «За большевиками в прошлом — террор; война и террор в прошлом», твердит он. Почему же только в прошлом?

Разве не читал гр. Толстой последней речи Ленина, грозящей террором меньшевикам и эсерам только за то, что они поверили в большевистский «НЭП» и имели неосторожность, заявить, что они — говорили об этом давно?

Разве не читал Толстой угроз Троцкого, в случае неудачи Генуэзской конференции?

Разве террор, с одной стороны, гражданская война, с другой — не продолжают в России изо дня в день? и Толстой уходит от этих возражений новым литературным вывертом. Это, видите ли, «зависит от нашей общей воли», чтобы террора и войны не было; в будущем что ото значит? От чьей «общей воли» это зависит? Толстого с Дзержинским<sup>3</sup> и Зиновьевым?

Толстой заявляет о своей великодушной готовности видеть на месте большевиков «незапятнанных людей», но беда в том, что для того, чтобы «посадить», «нужно опять-таки начать с убийств, с войны, с вымарывания голодом». А вот большевики уже «сидят» в не прибегают больше к убийствам, войне, вымарыванию голодом! Да кто же сказал

Толстому, что они сидят без всего этого, что они усидят хоть минуту, если не будут грозить убийствами, что прекратится при большевиках «вымарывание голодом»?

Толстой упоминает еще и про четвертый путь — путь Герцена. Непримируемое отношение к большевикам, пока они не падут, и отказ от возвращения в Россию. Тут он опять устраивает удобный для себя отвод. Оказывается, «Герцен жил не в изгнании, а в мире», тогда как «нам лезть в подвал». И горделиво Толстой провозглашает: «живьем в подвал — нет!». Почему в глухое время Герцена великий изгнанник «жил в мире», а в наше время усовершенствованного международного общения надо «лезть в подвал», остается невыясненным. Почему Герцен мог работать и вести борьбу для России в изгнании, а «в наше вредя это путь устрицы, а не человека», — ведомо одному Толстому. Я вот думаю, что как раз Толстой лезет «живьем в подвал». Лезет — и придумывает себе приличную обстановку.

Стоит ли после всего сказанного останавливаться на последнем аккорде, сугубо-политическом?

Толстой заявивши, что «ничего не понимает» в вопросе о форме правления; и доказавши это сопоставлением «Учредительного Собрания» с «королем», т.е. метода с одним из решений, тут же выражает «уверенность», что форма правления в России «вырастет из земли», а не будет «прикладыванием к русским зияющим ранам абстрактной, выношенной в кабинетах, идеи». Что тут осуждается и что одобряется? Большевизм, либерализм?

Сторонники Врангеля, во всяком случае, охотно подписались бы под этой формулой. Где же, собственно стоит Толстой? Какой политический смысл имеет его переход в «Накануне»?

Если своими заявлениями в начале письма он, как я выразился, сжег свои корабли, то своими словоизлияниями в конце он вообще напустил такого тумана, за которым можно усмотреть все, что угодно. Все, что угодно, за исключением одного: за исключением возможности принимать политическое самоуправление Толстого всерьез и усматривать в нем какую-либо ясную и отчетливую политическую мысль. Каковы бы ни были мотивы Толстого, — они лежат не в области политического мышления.

